



В. Ж. д'ЭСТЕН

Власть и жизнь

<Фрагмент>

Свой первый официальный визит Леонид Брежнев нанес мне в декабре 1974 года.

Мне довелось неоднократно встречаться с ним раньше, когда я был еще министром экономики и финансов при президенте Помпиду. Я возглавлял тогда французскую делегацию в так называемой Большой советско-французской комиссии, заседания которой поочередно проводились то в Париже, то в Москве.

Во время советско-французской встречи на высшем уровне в Пицунде президент Помпиду и Леонид Брежнев договорились проводить встречи в верхах ежегодно. Предусмотренная на конец 1974 года встреча должна была состояться во Франции.

После моего избрания на пост президента я подтвердил приглашение Леониду Брежневу и предложил провести встречу в Рамбуйе, вне Парижа, поскольку множество официальных кортежей блокирует движение и вызывает ненужное раздражение у парижан. К тому же рассчитывал на более продолжительные переговоры и надеялся, что в Рамбуйе нас будут меньше прерывать, чем в столице. Мне хотелось поглубже «прозондировать» моего собеседника, попытаться понять, как формируются его суждения, и выявить его самые чувствительные точки.

Замок Рамбуйе мне был хорошо знаком, я много раз приезжал сюда охотиться по приглашению генерала де Голля, а позже — президента Помпиду.

Ритуал во времена де Голля был неизменным и всякий раз восхищал меня как характерный штрих определенного стиля французской жизни.

Приглашенные ожидали к 8.30; из Парижа выезжали через мост Сен-Клу, пересекая утренний поток машин, идущих из пригорода с еще включенными фарами. В парк Рамбуйе мы въезжали

через центральные ворота у дороги на Париж, которые специально открывали по случаю охоты. На протяжении всего пути от ворот, начиная с платановой аллеи и дальше за поворотом, ведущим к замку, стояли сотрудники республиканской службы безопасности. Мы объезжали замок справа и останавливались с задней стороны замка напротив большого пруда.

Пока из машин вынимали чемоданы, сапоги и ружья, и относили в комнату на третьем этаже, где после охоты можно было переодеться к обеду, в мраморном зале подавался завтрак, который мы ели стоя. Этот зал представляет собой удлиненную галерею, занимает весь первый этаж и облицован в соответствии с модой школы Фонтенбло мрамором двух тонов красного цвета. На камине из пиренейского мрамора возвышалась позеленевшая от времени скверная гипсовая копия бюста Франциска I с загадочной, как у Джоконды, улыбкой.

Официанты в темно-синих фраках с золотыми пуговицами и в красных жилетах подавали кофе с молоком в чашечках из севрского фарфора и рогалики. Затем мы отправлялись на охоту. Генерал де Голль неизменно присоединялся к нам во время последней облавы, перед самым обедом. По совету своего адъютанта он становился позади одного из стрелков. Несколько раз этим стрелком оказывался я.

Я испытывал довольно странное ощущение, когда он, в пальто из грубой серой шерсти, стоял так близко за мной, на расстоянии протянутой руки; его силуэт немного смахивал на башню. Когда я оборачивался, чтобы заговорить с генералом, и встречался со взглядом его слегка косящих, близко посаженных глаз, увеличенных круглыми линзами очков, я слышал упреждение: «Смотрите! Слева от вас птица!» И действительно, над туями, высаженными в линию, я замечал светло-коричневого фазана — он планировал прямо ни меня, широко расправив крылья. Стало быть, я заблуждался, думая, что де Голль плохо видит.

На обед мы собирались в большой столовой замка. Здесь стоял затхлый запах сырости, свойственный редко открываемым помещениям. Серые, начинающие желтеть деревянные панели, непропорционально большое окно, выходящее на пруд, за которым по дороге в Ментенон² мчались крохотные автомобили, — и не более десяти человек (число гостей всегда ограничивалось), сидящих за слишком большим для стольких сотрапезников столом, — все это делало столовую похожей на аквариум. Генерал де Голль обычно сидел спиной к окну, веселый и всегда учтивый, он вел или, точнее, направлял разговор.

После кофе он, не дожидаясь никого, уезжал. Наши машины следовали за ним в Париж, держась на почтительном расстоянии.

На выезде из туннеля Сен-Клу наш кортеж распался: кто — домой, кто — в министерство. Моя машина ехала вдоль Сены, мимо заводов «Рено» в направлении улицы Риволи. Через четверть часа я возвращался в свой кабинет, где меня уже поджидали лаконичные документы министерства финансов, и уходил с головой в решение неотложных проблем. Однако я все время ощущал привкус утреннего кофе с молоком и запах прелых листьев на потемневшей земле аллея парка.

* * *

Накануне визита Брежнева я отправился в Рамбуи осмотреть апартаменты, отведенные советскому лидеру, проверить последние приготовления.

Было решено предоставить ему комнату Франциска I и примыкающие к ней жилые помещения. Комната эта находится на самом верху широкой фасадной башни замка. Ее так называют в честь короля Франциска I. Во время охоты в большом лесу, окружающем Рамбуи, король внезапно заболел и нашел приют в замке своего вассала д\’Анженна. Через несколько дней Франциск I скончался, но где именно, никто точно так и не знает. Но поскольку комната над башней, пожалуй, единственная, которую не коснулись преобразования XVIII века и эпохи Империи, то считается, что здесь это и произошло.

Президент Венсан Ориоль³, любивший в разгар охотничьего сезона проводить в Рамбуи уик-энд, оборудовал рядом с комнатой Франциска I апартаменты в стиле «ар деко»: светло-желтое дерево и зеленая кожаная обивка. Один-единственный телефон модели 1950 года. Ответственные лица из ведомства национальной подвижности суетились, подготавливая помещения для членов советской делегации, переводчиков и врача. Остальные члены «свиты» разместятся в Париже, в советском посольстве, и будут приезжать в Рамбуи по мере необходимости.

Предполагалось, что в день приезда, в среду вечером, Брежнев пожелает отдохнуть и поэтому поужинает один в своих апартаментах. На следующий день по программе — общий завтрак с участием основных членов обеих делегаций, всего на восемь персон, а наша первая беседа наедине в присутствии лишь переводчиков была назначена на 17.30. На нее отводилось два часа.

Завтрак состоялся по графику, после чего мы разошлись. В 15 часов — первое послание: Генеральный секретарь спрашивает, нельзя ли перенести начало переговоров на 18 часов. Никаких объяснений. Я даю согласие и в небольшом кабинете, примыкающем к моей комнате, перечитываю материалы для беседы.

В 16.15 — новое послание: господин Леонид Брежнев хочет отдохнуть, нельзя ли начать переговоры в 18.30? Воображаю, какую реакцию это вызовет. По договоренности ход наших встреч не будет предан гласности. Однако допускаю, что произойдет утечка информации, и тогда легко предсказать комментарии: «Брежнев заставляет ждать Жискара! Никогда он не позволил бы себе такого по отношению к де Голлю! Он явно хочет показать, какая между ними разница». Я передаю через генерального секретаря Елисейского дворца свой ответ: если мы хотим, чтобы у нас было достаточно времени для переговоров, откладывать их начало крайне нежелательно. Я буду ждать господина Брежнева в 18 часов в условленном месте.

По моей просьбе в небольшой комнате, завершающей анфиладу залов, разжигают камин. Эта комната отделана восхитительными резными деревянными панелями исключительно тонкой работы середины XVIII века с фигурками разных животных. Панели явно в плохом состоянии, маленькие кусочки отстают, кое-где видны трещины. Я отмечаю про себя, что их следует реставрировать.

* * *

Но вот вдали отворяется первая дверь. Брежнев движется мне навстречу. Он ступает нерешительно и нетвердо, словно на каждом шагу уточняет направление движения. За ним следуют его адъютант, которому на вид далеко за шестьдесят, — по-видимому, это врач — и переводчик⁴. Поодаль, как обычно, довольно многочисленная группа советников в темных костюмах. Среди них я узнаю советского посла в Париже.

Я поджидаю Брежнева на пороге. Теплая встреча. Он обеими руками берет мою руку и трясет ее, обернувшись к переводчику. Он выражает свою радость по поводу нашей новой встречи, уверенность в том, что «мы сможем хорошо поработать на благо советско-французского сотрудничества», и приносит соболезнования по поводу кончины президента Помпиду. Глубоко посаженные живые глаза образуют косые щелки на его полном, расширяющемся книзу лице, скрывающем шею. По движению челюсти заметно, что у него нарушена артикуляция.

Служитель притворяет створки дверей. Я приглашаю Леонида Брежнева сесть возле камина. Переводчики достают, продолговатые блокноты, открывают первую страничку. Беседа начинается с обычных тем: приверженность делу мира и разрядки, значение советско-французского сотрудничества, которое можно считать образцовым. Но также и сетования:

— Мне докладывают, что ваши процентные ставки по-прежнему слишком высоки для наших заказов. Нам предлагают более вы-

годные условия, в частности, итальянцы и немцы. Мы готовы отдать предпочтение вам. Однако необходимо, чтобы ваши условия были по крайней мере такими же, как их, иначе мы найдем себе других партнеров.

У меня было такое чувство, будто я пребываю в своей прежней должности: эти вопросы долго и обстоятельно обсуждались на заседаниях Большой комиссии. Мне же хотелось поговорить с Брежневым о текущих проблемах: о его отношениях с американцами через четыре месяца после ухода Никсона; о том, как СССР, занимающий второе место в мире по добыче нефти, оценивает нефтяной кризис.

Я вижу, с каким усилием он произносит слова. Когда его губы двигаются, мне кажется, я слышу постукивание размякших костей, словно его челюсти плавают в жидкости. Нам подают чай. Он просит воды. Его ответы носят общий характер, скорее банальны, но звучат справедливо. Я понимаю, что он предпочитает не выходить за рамки знакомых ему тем. Он сожалеет об уходе Никсона.

— Хоть он и был нашим противником, с ним можно было вести переговоры.

Но в то же время он полагает, что президент Форд, опираясь на советы Генри Киссинджера, продолжит политику своего предшественника. И он переходит к нашим торговым отношениям.

— Что касается нефти, — говорит он, — то Советский Союз готов вам ее поставлять, но ее у нас сейчас не так уж много для экспорта, а ведь необходимо еще обеспечить нефтью страны Варшавского Договора. По этому вопросу ведутся сейчас переговоры.

Это справедливо, но аргумент не нов. Мы действительно ведем переговоры, но они начались еще несколько лет назад, до нефтяного кризиса, когда мы стали искать новые источники закупки нефти для удовлетворения потребностей ЭРАП⁵ и сбалансированности поставок нашего оборудования в СССР. Объем поставок нефти из Советского Союза с тех пор почти не изменился, мы получаем всего несколько миллионов тонн в год, и советская сторона не обещает существенного увеличения.

Дикция Брежнева становится все менее разборчивой. Все то же постукивание костяшек. Мы говорим уже пятьдесят минут. Я это отмечаю по своим часам, съехавшим на запястье. Однако если вычесть время, затраченное на перевод, то беседа длится вдвое меньше. Внезапно Леонид Брежнев встает — в дальнейшем я еще не раз столкнусь с этой его манерой — и тотчас же направляется к выходу. Он что-то говорит переводчику, вероятно, просит открыть дверь и предупредить адъютанта, который, как я догадываюсь, находится где-то совсем рядом. Как только Брежнев делает

первый шаг, он перестает замечать присутствие других людей. Главное — контролировать направление движения.

— Мне нужно отдохнуть, — говорит он, расставаясь со мной, — вчера во время перелета было очень ветрено. Мы ведь еще увидимся за обедом.

* * *

На обед приглашены также Громыко, которому отведено место справа от меня, и наш министр иностранных дел Сованьярг (у них уже состоялась беседа), послы обеих наших стран и другие официальные лица и, наконец, переводчики: с нашей стороны — князь Андронников, директор курсов подготовки переводчиков при университете Дофин, во время официальных визитов в Москву он обязательно посещает русские церкви; с советской стороны — дипломат, похожий на англичанина, высокого роста, с тонкими чертами лица и преждевременной сединой, говорящий на литературном французском языке без малейшего акцента⁶.

Обед сервирован в той же столовой, где де Голль устраивал свои охотничьи трапезы. Я на мгновение закрываю глаза и предаюсь воспоминаниям. Уже стемнело, но на большом окне нет ставен, все еще видны черные деревья по ту сторону пруда и высоко в небе стаи возвращающихся уток.

Прием пищи стоит Брежневу немалых усилий. Врач, сидящий в конце стола, не сводит с него глаз. Мы говорим мало и не очень содержательно. Сколько же банальностей произносится во время подобного рода встреч, за которыми бдительно следят издали журналисты и в тревожном ожидании наблюдают народы разных стран!

Я смотрю на челюсть Генерального секретаря. Сумеет ли мы завтра хоть чуточку продвинуться, выйти за пределы безопасных общих мест, добраться до конкретного обсуждения ряда вопросов, что дало бы надежду на какое-то движение вперед?

Подан десерт. Затем я провожаю Брежнева до передней, выложенной черной и белой плиткой. Мы желаем друг другу доброй ночи. И я смотрю, как, повернувшись ко мне грузной спиной, он все той же неуверенной походкой удаляется в сопровождении небольшой «свиты» в направлении комнаты Франциска I, где ему предстоит провести ночь.

* * *

В соответствии с принципом взаимности мне предстояло посетить Москву в октябре 1975 года. Советская сторона стремилась придать этой поездке характер официального визита, чтобы чередовать такого рода встречи с рабочими. В этой связи в предложенной

нам программе переговоры перемежались целым рядом протокольных мероприятий. Меня сопровождали Анна Эмона⁷ и довольно многочисленная «свита», состав которой я постарался, однако, ограничить так, чтобы мы все уместились в одном самолете. Жить мы должны были в Кремле.

Комментарии французской печати касались прежде всего вопроса о том, какой прием уготован мне в Москве. Будет ли он обставлен с таким же блеском, как визиты де Голля и президента Помпиду? Правую печать волновало как раз обратное: не станет ли Жискара, заявивший о своей приверженности голлизму, чрезмерно податливым с советскими?

Мне эта поездка не представлялась простой, однако по иным причинам. Я не верил в полезность торжественных протокольных мероприятий и понимал, что притягательность новизны, которой подобные встречи обладали в те времена, когда Франция выступала инициатором политики разрядки между Западом и Востоком, существенно притухла по мере того, как наши американские, немецкие и английские партнеры принялись, в свою очередь, развивать прямые контакты с Москвой. Пышность приемов, как и народное воодушевление, стала привычной.

Главное теперь заключалось в содержании бесед. Сохранила ли Франция как дипломатический партнер Советского Союза преимущество, полученное благодаря инициативам генерала де Голля? Или же наши собеседники намеревались использовать прецедент встречи с нами для развития более важных, с их точки зрения, отношений с Западной Германией? Сумею ли я распознать их подлинные намерения в военной области? Не стремились ли они подтолкнуть Францию на путь фактического нейтрализма, заверяя нас в значимости ядерного сдерживания для обеспечения нашей безопасности с единственной целью — ослабить военный потенциал Атлантического блока? Или же они рассматривали наши ядерные силы как угрозу для самих себя, серьезно подрывающую их шансы на вторжение в Европу и на победу в случае военного конфликта с Западом?

* * *

Что касается характера встречи, то я очень быстро прояснил для себя этот вопрос. При официальных визитах самолеты приземляются в аэропорту Шереметьево на северо-востоке Москвы, где для них выделена специальная посадочная площадка.

Советские руководители, встречающие нас, выстроились в ряд. Вот они двинулись к трапу самолета. Группки московских школьников в сопровождении молодых учительниц размахивают

маленькими бумажными флажками — трехцветными и красными. Я их приветствую, хотя в глубине души убежден, что они на самом деле не знают, кто я такой. Конечно же, они радуются — эта прогулка куда веселей, чем урок в школе; лица их раскраснелись от свежей прохлады ранней осени, но им вряд ли холодно: на них зимние спортивные курточки, девочки — в шерстяных чулках.

Затем кортеж направляется в Москву. Мы пересекаем березовую рощу с прозрачным подлеском и вскоре проезжаем мимо монумента, символизирующего железные противотанковые ежи и установленного в том месте, где немецкие войска в декабре 1941 года ближе всего подошли к Москве⁸. Говорят, это не совсем то место. Во всяком случае, думаю я, где-то в этих краях Гельмут Шмидт⁹ во время немецкого наступления наблюдал отсветы бомбежек Москвы над черными стволами деревьев и заснеженными полями.

Затем мы едем вдоль нескончаемых бульваров, где остановлено и без того не слишком оживленное движение, минуем пригород Москвы. Наконец мы в городе. Широкий проспект, который заканчивается поворотом к мосту через Москву-реку и к въезду в Кремль. Именно здесь и собралась толпа любопытных, на нее нацелены телевизионные камеры; впоследствии это позволит говорить о народном энтузиазме.

Точно такой же путь я, тогда еще министр финансов, проделал двумя годами раньше — в июле 1973 года. Была точно такая же толпа, поджидавшая кого-то, но явно не меня. Мне объяснили, что премьер-министр Вьетнама господин Фам Ван Донг¹⁰ прибывает в Москву с официальным визитом. Тогда мне показалось, что на тротуарах столпилось несколько десятков тысяч людей. Я понял, чем объясняется это скопление зрителей, когда заметил чинно выстроившиеся в переулках длинные колонны грузовиков; на них, по-видимому, и доставили сюда всех этих людей.

* * *

На этот раз по случаю моего приезда народу собралось значительно меньше. По тротуарам вдоль проспекта идут пешеходы, вполне равнодушно вззирающие на наш кортеж. Представляю себе реакцию журналистов, которые следуют в машинах прессы в каких-то десяти метрах позади нас.

Но, оказывается, советская сторона подготовила горячее приветствие на последнем повороте. Я еще издали разглядел силуэты крытых брезентом грузовиков. Люди, стоящие в несколько рядов, аплодируют. В их руках, словно по счастливой случайности, множество трехцветных флажков.

Леонид Брежнев — он сидит в машине слева от меня — доверительно сообщает мне через разместившегося напротив переводчика:

— Видите, как горячо москвичи приветствуют вас!

Он считает, что все очень хорошо организовано.

Я предпочитаю высказать свое мнение:

— Мне кажется, народу не так уж много. Он удивлен, почти растерян.

— Ведь это будний день, большинство людей на работе.

Я не отвечаю. К чему продолжать этот разговор? У меня перед глазами картина выстроенных в ряд грузовиков, которые, по-видимому, перевозят заводских рабочих.

Вот и Москва-река, вдоль нее во всем своем великолепии тянется Кремль. Не то крепость, не то монастырь, разукрашенный золотом и окруженный башнями в стиле «Диснейленда», но русская мощь и продолжительная кровавая борьба с татарами придали ему суровый и самобытный облик.

Проезжаем под сводчатыми воротами и сворачиваем налево вдоль первого жилого здания. Мы с Леонидом Брежневым вместе входим в здание, и он провожает меня до лифта, здесь ко мне присоединяется Анна Эмона.

Мы поднимаемся в отведенные для нас комнаты, недавно отремонтированные, обставленные опрятно и довольно безвкусно. Но паркет восхитителен. На столиках — минеральная вода с открылками в виде красных кремлевских звезд и вазы, полные шоколадных конфет в разноцветных блестящих обертках.

Кто здесь жил? Согласно «Голубому гиду»¹¹ — члены императорской семьи, затем, в начале XX века, сам император Николай II.

* * *

На 19 часов после первой беседы с глазу на глаз назначен официальный обед в Грановитой палате Кремля. Брежнев и я, стоя рядом, встречаем гостей. Приглашено около двухсот человек. Они представляются по очереди, вначале проходит французская делегация, затем приглашенные с советской стороны и, наконец, журналисты.

Брежнев выглядит усталым, но, должно быть, принял изрядную дозу допинга. Мы входим в зал, на стенах — фрески, неистовые и великолепные. Нам рассказывают об изображенных в военных доспехах прославленных деятелях Великого Московского княжества. Потолок низкий, точно в логове Ивана Грозного.

Мы с Брежневым сидим друг против друга. Чтобы занять свое место, мне приходится обойти ряд советских приглашенных и выс-

ших чиновников. Узнаю Суслова по пышной белой шевелюре, венчающей его лицо стареющего студента.

Брежнев зачитывает свою речь. Он говорит отрывисто, по-видимому, из-за усталости, и от этого его фразы, в переводе вполне банальные по смыслу, воспринимаются как угроза.

Этот тон почти сводит на нет и сердечность приветственных слов, и ритуальные любезности, и бесконечное подчеркивание значения советско-французских отношений.

Наступает мой черед говорить. Я готовил свою речь в Елисейском дворце, взяв за основу замечательный проект, подготовленный моим дипломатическим советником Габриелем Робэном.

Я добавил в него два новых момента. Во-первых, мне хотелось отметить, что, если мы желаем закрепить достижения последних десяти лет, нам необходимо перейти от сосуществования, ограничивающегося признанием права на существование каждого из нас, к сотрудничеству, означающему совместную работу во имя решения конкретных проблем.

Во-вторых, сделать своего рода предостережение: все сильнее проявляется несоответствие между продолжением разрядки и идеологической конфронтацией. Я хотел выразить советской стороне свое недовольство в связи с распространенным в советской печати и средствах массовой информации резким заявлением, осуждающим империализм, о котором, как, должно быть, полагали наши собеседники, нам ничего не было известно. Между тем в нем нас обличали заодно с американцами и «реваншистами» Федеративной Германии.

Я встаю и готовлюсь говорить. Сбоку от себя вижу Суслова, его внимание приковано к тарелке. Не похоже, чтобы Брежнев внимательно следил за переводом моего выступления. Когда я закончил, он аплодирует с вежливым энтузиазмом, затем с бокалом в руках произносит несколько тостов. Мы поднимаемся, и неожиданно по-детски он берет меня за руку, чтобы выйти из зала. Хорошее настроение и радушие вновь при нем.

Расставаясь, он повторяет, что будет ждать меня завтра во второй половине дня.

— Нам потребуется много времени — предстоит проделать большую работу.

Наши апартаменты расположены в другом здании, с противоположной стороны Оружейной палаты, и, чтобы добраться до них, мы идем по длинным коридорам, опоясывающим всю территорию Кремля. Анна Эмона и я на минутку задерживаемся в часовне, где Лев Толстой венчался с дочерью придворного врача¹². Возвращаемся в свои безликие покои и закрываем дверь. На окнах ставен

нет. Напротив виднеется угловатая масса кремлевских зданий. Небо чистое. Город затих. Я засыпаю под воображаемое баюканье безграничных русских степей и лесов.

* * *

По моей просьбе на утро следующего дня было предусмотрено посещение Дома-музея Льва Толстого в Ясной Поляне. Это имение расположено недалеко от Тулы, в ста километрах южнее Москвы. Мы прилетели в Тулу на самолете, оттуда до усадьбы ехали на машинах.

Деревянный дом, просторный и строгий, с инкрустированным паркетом. Комнаты расположены хаотично. На стенах гостиной — портреты членов семьи, родителей, дедушек и бабушек Толстого. Среди них я с удивлением обнаруживаю знакомое лицо: артист, исполнявший роль старого князя Болконского в фильме «Война и мир», воспроизвел его с большой точностью¹³. Прообразом этого героя был дед Толстого. В соответствии с русским обычаем сохранены и личные вещи писателя: верхняя одежда — на вешалках, обувь — в нижней части шкафов. На шероховатой поверхности деревянного стола Толстого кое-где видны чернильные пятна, в письменном приборе — стальные перья.

Мы дошли до могилы Толстого. Он похоронен на краю оврага в березовой роще, в том самом месте, где, как рассказывал ему в детстве брат Николай, зарыта зеленая палочка, на которой Николай написал тайну, как сделать, чтобы «все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы». Я вспомнил, как семьдесят лет спустя уже в расцвете славы Толстой трогательно писал: «...И палочка эта зарыта у дороги на краю оврага, в том самом месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть меня, просил в память о Николенке закопать меня». И я возложил на небольшой могильный холмик цветы, привезенные из Москвы.

* * *

На обратном пути, в самолете, я узнаю, что появились какие-то сложности с проведением беседы с Леонидом Брежневым во второй половине дня. Мне сообщают, что он свяжется со мной, когда я приеду в Москву.

В наших кремлевских апартаментах должен состояться частный завтрак. Войдя в переднюю, я застаю членов французской делегации в крайнем возбуждении: Брежнев, кажется, отказывается от встречи. Слишком хрупкие латинские нервы не выдерживают таких сюрпризов. Мои сотрудники набились в мой кабинет.

— Вы не должны это допустить! Журналисты уже в курсе. Они передают в Париж, что Брежнев наносит нам оскорбление!

— Откуда исходит эта новость? — спрашиваю я.

— От советской делегации. Кажется, Брежнев сам нам позвонит.

Мое сердце бьется медленнее, как всегда в кризисных ситуациях — малых или больших, и это помогает мне контролировать свои реакции. Почему такое волнение? Если Брежнев отказывается — значит, есть на то какая-то причина. Если эта причина оскорбительна для меня, я уеду — и дело с концом! Если отказ оправдан, ему придется объясняться, но это уже проблема советской стороны.

Действительно, один из членов советской делегации просит меня принять его. Он сообщает, что господин Брежнев желает переговорить со мной по телефону.

Нас соединяют.

Брежнев произносит по-русски несколько слов, которые я не понимаю. Затем подключается переводчик:

— Генеральный секретарь приносит свои извинения. Он плохо себя чувствует. Он был болен уже вчера, но хотел встретить вас в аэропорту. Он простудился и плохо спал этой ночью.

Я слышу, как они о чем-то говорят.

— Господину Брежневу необходимо отдохнуть сего дня. Он просит вас в порядке личного одолжения (я фиксирую формулировку) согласиться на изменение в вашей программе. Осмотр Бородина намечен на пятницу, но вы могли бы съездить туда сегодня во второй полови не дня. Тогда мы перенесли бы сегодняшние переговоры на пятницу. Господин Брежнев просит вас согласиться на это, так как сильно утомлен.

Он настаивает, и его объяснение выглядит вполне убедительным. Я догадываюсь, как это воспримут мои сотрудники, которые, в свою очередь, будут думать о реакции средств массовой информации: «Вам ни в коем случае не следовало соглашаться, посмел бы он так поступить с де Голлем! Брежнев мог бы выдержать часовую беседу!»

В моем распоряжении три секунды для того, чтобы принять решение. Пытаюсь взвесить: «за» — диктует жизнь, «против» — требует власть.

Я даю ответ:

— Согласен перенести переговоры на пятницу. Надо проследить за реакцией прессы. Она, конечно же, будет негативной. Вам надлежит дать объяснение, почему встреча перенесена, сказать о причинах этого и взять на себя ответственность за изменения

в программе. Передайте господину Брежневу, что я желаю ему хорошо отдохнуть и поскорее поправиться.

* * *

Таким образом, из-за этих осложнений я отправился во второй половине дня в Бородино.

Я сам, еще на этапе подготовки визита, выразил желание посетить поле битвы у Москвы-реки, которое русские называют Бородинским. Насколько мне известно, никто из глав французского государства не бывал в Бородине с тех пор, как в августе 1812 года Великая армия ценой кровавых потерь силой проложила там себе путь на Москву.

Мне хотелось воздать должное нашим соотечественникам из Пуату или Пикардии, которые пешком прошли по Европе и проникли в глубь России. Они сражались храбро и жестоко в течение долгого дня, считая его решающим, но сумели лишь прогнать с поля боя поредевшие русские полки, отступившие, чтобы перестроиться и стать неуловимыми.

Я пригласил сопровождать меня начальника генштаба генерала Ван-Бремера, который в двадцать лет был депортирован в Германию, — человека, отличающегося уравновешенным и прозорливым умом и исключительным чувством собственного достоинства. Кроме того, я попросил приехать из Парижа генерала Даву де Ауэрштедта, в то время он был директором Музея армии. Мне хотелось, чтобы в Бородино меня сопровождал представитель одной из известных французских фамилий времен Империи.

В романе «Война и мир» Толстой создал поразительную картину Бородинского сражения. Он как одержимый работал над посвященными сражению главами в комнате со сводами — своем кабинете в Ясной Поляне, собрав все относящиеся к сражению документальные материалы.

Ничто не ускользнуло от его внимания: ни цвет лацкана на мундире, ни вид гноящегося обрубка человеческого тела, разорванного ядром, ни стон, слабый стон умирающего в муках, взывающий об утешении.

Летом я специально перечитал эту часть романа, изданного «Плеядой», и проследил по карте передвижение войск.

Мы вышли из машины. Перед нами открывался вид на поле сражения; оно было совсем не таким, как я рисовал его в своем воображении: гораздо меньше, не такое холмистое, человеческий голос доносится с одного конца поля на другой.

Я направился к небольшому кургану, на котором теперь установлен мемориальный обелиск. Отсюда Наполеон следил за ходом

сражения, не отнимая подзорной трубы от глаз и подняв воротник сюртука, так как у императора был насморк.

Под осенним солнцем все вокруг словно вновь оживало, пейзаж стал буколическим. Слева перед нами возвышался центральный курган, где располагался знаменитый редут¹⁴, ощетилившийся стволами русских пушек; он играл решающую роль во всем сражении. Сейчас это лишь небольшой пригорок, высотой в несколько метров; чтобы взобраться на него, нужно сделать всего десять шагов.

Мысленно воображаю последнюю атаку, крики, дым, вспышки пламени по всему горизонту. Справа, в березовой роще, польская конница Понятовского совершает продолжительный кружной маневр. Слева горизонт чист. По рельефу местности нетрудно угадать, где были укрытия, в которых солдаты, втянув головы в плечи, ждали приказа к наступлению. За ними, в тылу, стояло подкрепление, сформированное из итальянской гвардии Эжена Богарне.

Вдали от нас, за пределами видимости, находилась деревня Горки, где в тени дома на лавке, покрытой ковриком, сидел, вытянув вперед свои короткие ноги, Кутузов. Оттуда, как пчелы из улья, разлетались во все стороны его адъютанты, развозившие приказы сдержатъ, а затем измотать наступающих французов, — до тех пор, пока ему не пришлось смириться и дрожащими от унижения губами и со слезами ярости на выцветших глазах отдать приказ об отступлении.

В нашем распоряжении — всего один час, потому что нужно было вернуться вовремя, чтобы присутствовать на спектакле Большого театра во Дворце съездов. Мы ехали в Москву в сгущающихся сумерках. Машина бесшумно катила в Кремль.

* * *

Только в пятницу, в конце нашей последней беседы, Брежнев сам поведал мне истинные причины изменения программы. В интервью, с которым я в среду выступил по первому каналу французского телевидения, я не стал намекать на состояние здоровья Брежнева, а службе информации французского посольства было дано твердое указание также соблюдать конфиденциальность, что и было выполнено.

В конце моего пребывания пресса подчеркнула «деликатность», проявленную французской делегацией. Однако в информационном обществе такого рода запоздалый комплимент не мог стереть первоначальное неблагоприятное впечатление.

Что же запомнится из этих дней? «Оскорбление», нанесенное Брежневым? Или же более реалистическое понимание того, что,

если не считать некоторых деталей, в рамках франко-советского сотрудничества, чью траекторию тщательно и осмотрительно формируют обе стороны, события развиваются так, как того и следовало ожидать? Если только не просочится и не разнесется мгновенно, как молния, информация об истинном состоянии здоровья Брежнева. Но я тут буду ни при чем.

* * *

Четыре года спустя, в апреле 1979 года, Леонид Брежнев вновь встречал меня в аэропорту Шереметьево. На этот раз все было скромнее. Уже без школьников. Это был рабочий визит. Я гадал, приедет ли Брежнев в аэропорт или же пришлет кого-нибудь вместо себя, так как слухи о плохом состоянии его здоровья распространились во всем мире. Он часто отменял визиты к нему из-за рубежа.

Через иллюминатор самолета я сразу увидел его — в сером пальто и фетровой шляпе с шелковой лентой. Рядом с ним — Громыко и сотрудники МИД.

Спускаюсь по трапу. Как все-таки приятно, что народу немного и мне не придется стоять по стойке «смирно», деланно улыбаться и принимать цветы в целлофане!

Мы садимся в громадную черную машину Брежнева, и кортеж неспешно направляется в Москву.

Наши переводчики сидят напротив нас. У меня теперь новый переводчик. По неизвестным мне причинам — скорее всего, из-за преклонного возраста — Андронников вышел на пенсию. Его заменила молодая женщина русского происхождения Катрин Литвинова. Я спросил, состоит ли она в родстве с бывшим советским наркомом иностранных дел, которого знал лишь по фамилии.

— Да, — ответила она мне, — но родство очень дальнее. По матери я из казаков.

Она старательно поджимает колени, чтобы не задеть нас. Леонид Брежнев с некоторым удивлением разглядывает ее смазливое личико со светлой кожей славянки. Ее акцент, несомненно типичный, ласкает слух. Брежнев сразу же принимается пояснять:

— Я приехал встретить вас в аэропорт вопреки мнению моего врача. Он запретил мне это. Вам, должно быть, известно, что в последнее время я отказываюсь от визитов. Но я знаю, что вы содействуете развитию добрых отношений между СССР и Францией. Я не хотел бы, чтобы мое отсутствие было неверно истолковано. Вы наш друг.

Он сидит, откинувшись назад, в своем сером пальто. На лбу проступают капельки пота. Он вытирает его платком.

Я благодарю его. Говорю такие банальные фразы, что самому стыдно от их плоскости. Моя переводчица придает им теплоту,

говоря высоким голосом в нос, с гортанным придыханием. За окном знакомые виды, все то же мелькание берез.

* * *

Брежнев снова начинает говорить. Он произносит по-русски какую-то короткую фразу, не напрягая голоса.

Переводчик воспроизводит ее почти так же — отрешенным и спокойным тоном.

— Должен признаться, я очень серьезно болен.

Я затаил дыхание. Сразу же представляю, какой эффект могло бы произвести это признание, если бы радиостанции разнесли его по всему миру. Знает ли он, что западная печать каждый день обсуждает вопрос о его здоровье, прикидывает, сколько месяцев ему осталось жить? И если то, что он сказал мне, правда, способен ли он в самом деле руководить необъятной советской империей?

Между тем он продолжает:

— Я скажу вам, что у меня, по крайней мере как мне говорят врачи. Вы, наверное, помните, что я мучился из-за своей челюсти. Вы, кстати, обратили на это внимание в Рамбуйе. Это раздражало. Но меня очень хорошо лечи ли, и все теперь позади.

В самом деле, кажется, дикция стала нормальной и щеки уже не такие раздутые. Но с какой стати он сообщает это все мне? Понимает ли он, чем рискует? Отдает ли себе отчет в том, что рассказ об этом или просто утечка информации будут губительны для него?

— Теперь все намного серьезнее. Меня облучают. Вы понимаете, о чем идет речь? Иногда я не выдерживаю, это слишком изнурительно, и приходится прерывать лечение. Врачи утверждают, что есть надежда. Это здесь, в спине.

Он с трудом поворачивается.

— Они рассчитывают меня вылечить или по крайней мере стабилизировать болезнь. Впрочем, в моем возрасте разницы тут почти нет!

Он смеется, сощутив глаза под густыми бровями. Потом следуют какие-то медицинские подробности, касающиеся его лечения, запомнить их я не в состоянии.

Он кладет мне руку на колено — широкую руку с морщинистыми толстыми пальцами, на ней словно лежит печать тяжелого труда многих поколений русских крестьян.

— Я вам говорю это, чтобы вы лучше поняли ситуацию. Но я непременно поправлюсь, увидите. Я — малый крепкий!

* * *

Вдруг он неожиданно меняет тон:

— Вы хорошо знаете президента Картера. Что вы о нем думаете?

Я отвечаю:

— Пока что я встречался с ним всего два раза. Он хорошо прорабатывает вопросы. Ему не хватает опыта в международных делах, однако он способен довольно быстро вникнуть в суть проблемы.

— Нет, я не об этом. Я спрашиваю, что вы думаете о нем как о человеке. За кого он меня принимает?

Брежнев горячится, сам себя заводит, в конце концов кипит от обиды:

— Он без конца шлет мне письма, очень любезные письма. Но я не просил его мне их писать!

Я говорю:

— Он мне тоже пишет. Он пишет Шмидту, пишет Каллагэну. Похоже, что у него такая привычка.

Но Брежнев уже не слушает меня. Он продолжает раздраженно говорить сам с собой:

— И вот он шлет мне все эти письма. А затем в конце недели отправляется куда-нибудь на Средний Запад или в какой-нибудь университет. И там начинает меня оскорблять! Он обзывает меня так грубо, что я никак не могу этого стерпеть. Он считает, будто я об этом ничего не знаю. Но я получаю все его речи. Значит, по его мнению, со мной можно так обходиться! Да что же он за человек? Что о себе воображает?

Негодование бьет через край. Он явно глубоко задет, чувствует себя обманутым. По-видимому, советскому лидеру оскорбления не столь привычны, как нам! Но и на самом деле бесконечный поток записок и писем от Джимми Картера начинает надоедать.

Брежнев замолкает. Его возбуждение спадает. Мы подъезжаем к Москве. До самого приезда он не произносит ни слова. Переводчики сидят молча, как их обязывает профессиональная этика.

И вот я у того же самого въезда в Кремль, у того же лифта, в тех же апартаментах, только на этот раз без Анны Эмоны.

На следующий день состоялось несколько бесед по конкретным проблемам, и я с удивлением отмечаю, как точно сохранились у него в памяти целые фразы, сказанные во время наших предыдущих встреч. Он никогда больше не вернется к вопросу о своем здоровье.

